

Родился в Москве. Учился на историческом факультете Московского областного педагогического института. Стихи печатались с 1989 года в журналах «Юность», «Новый Мир», «Дружба народов», газете «Гуманитарный фонд». Автор книг «Корни огня» (М.: ЛИА Р. Элинина, 1994), «Тяжёлая слепая птица» (М.: Крымский клуб, 2012; посмертно). В 1992 году вместе с Андреем Поляковым и Игорем Сидом создал московско-крымскую литературную группу «Полуостров». Посмертно стихи печатались в журналах «Арион», «Воздух», в антологиях «Строфы века», «Самиздат века», «Русские стихи 1950–2000».



## **СТРАШЕН ГОРОД КИТЕЖ**

\* \* \*

Я с вами говорю из ада,  
там, где не выпьешь на троих.  
Вы не забыли глаз моих  
и моего больного взгляда?

Отсюда чуть видна Земля  
по телевизору цветному.

Здесь не передают рекламу —  
здесь начинают всё с нуля, —

с огня, с пещеры, с колеса,  
со стула, что собственноручно  
сколотит гвардии поручик  
тебе в укор за полчаса.

И ещё надо доказать  
свои права на первородство,  
и отступает благородство,  
и ещё надо доказать.

\* \* \*

Муравьиный полк погибал в горах,  
где титана смутно глыбился пах.  
Муравьиный полк, муравьиный полк,  
пол-версты — полёт — автоматный щёлк.  
Муравьиный полк загнан, словно волк,  
в царство злых камней, в миномётный шёлк.  
Полоумный полк расставлял посты,  
и вблизи от мин он сажал цветы.  
И в палатке каждому муравью  
снилась самка с лапками восемью...

\* \* \*

Тяжёлая слепая птица  
назад, в язычество летит,  
и мир асфальтовый ей снится,  
и Гегель, набранный в петит.

Молчанье жирное зевает.  
Она летит, в себе храня  
густую память каравая  
и корни чёрные огня.

Она летит над лесом топким  
воспоминания и сна,  
летит из черепной коробки  
осиротелого пшена.

Она летит из подсознания  
в глухой берёзовый восход,  
и изморосью расставанья  
от крыльев глиняных несёт.

\* \* \*

Страшен был город Китеж,  
когда из воды поднялся.  
Всё сгнило и почернело,  
отдаёт болотную тиной.  
К клетям пристали коряги,  
утопленник с вздувшейся мордой,  
и извиваются щуки  
во светлых храмах Господних.  
Я опускаю руки: не мне этот город чистить,  
не я его и придумал,  
не я его и топил.

\* \* \*

Струились женщины, горели зеркала,  
и воздух весь заполнен был смычками,  
и букву «ять» богиня родила,  
тяжёлую и влажную, как камень.

И отбыл я на некую звезду,  
с собою взяв, словно в больницу, всё своё.  
Христос с моей душой беседовал в саду  
и удивлялся угловатости её.

И было небо птицами покрыто,  
тревожно улетающими на юг,  
и в древний мир, теснившийся вокруг,  
Батыев конь впечатывал копыто.

\* \* \*

Мне обрубили руки  
и врыли ногами в землю,  
щёки пробили гвоздями  
и застеклили раны.

И я стою неподвижно,  
и я стою так спокойно!  
и только дрожу ночами,  
пытаясь взлететь к луне.

И кто-то идёт по карнизу,  
счастливый и невесомый,  
прижимаясь всем телом  
дрожащим ко мне, ко мне.

Но стоит взойти солнцу,  
я вновь становлюсь одиноким,  
и только кровельщик пьяный  
лезет по мне, сопя.

\* \* \*

День догорал... Кряхтели пустыри,  
брехали псы. Все было ненадёжно.  
Как мне писалось в этот странный вечер —  
рублей на восемь за ночь нагорело!  
Я выключил тогда торшер и бра  
и подошел к окну. И увидел  
Россию.  
И проводы гуляли за окном,  
и ночь впадала в Кунцево дождём,  
и страшный, страшный, страшный Млечный Путь  
предупреждал...

\* \* \*

На чёрта, говорю, эта страстная ярость двуперстья,  
чёрных платов угрюмость, Третий Рим, ледяная пурга?  
Мне б залечь на печи, порастить лишаями и шерстью,  
только без дураков, засапожных ножей — на фига?  
Этот вопль... Мне на голову словно обрушилась тонна.  
Эта гниль подворотен, ужасающий русский бардак.  
Чернокрылая мысль отделяется плавно от тела  
и, взлетая, парит над вечернею страшной Москвой.  
Я — пришелец с миров, где пространство  
восьмёркой закручено.  
И когда меня Бог перенёс через холод и тьму,

я очнулся в траве, шебуршавшей, как будто уключины  
над осокою озера — и понял тогда, почему.  
Стало ясно всё вдруг — и от боли виски заломило,  
и сверлом обжигающим мне через череп прошло.  
А потом пала мгла. И так мило мне стало на свете,  
что с морозной звезды донести тебе правду могу.  
Мне легка эта ноша. Но если глагол исступленья  
на широкие площади вырвется в треске пальбы,  
буду биться я лбом о щербатые эти ступени,  
по которым проносят щелястые эти гробы.  
А когда успокоится всё, и отделит архангел  
всех овец от козлищ, и над городом сникнут думы,  
я спрошу себя: что делал я в этот вечер воскресный?  
И отвечу спокойно: я писал. О, я только писал.

\* \* \*

В позвонках усталого Кавказа,  
в Грузии — в его спинном мозгу  
я усну, как греческая ваза,  
согнутый в ужасную дугу.

Не взывай: за что же, мол, боролись,  
лучше-ка отколоти слугу.  
Напоролись мы на электролиз.  
Это больно. Больше не могу.

А на Пасху выпал снег.  
Было всё бело и спело.  
И, сырой и угорелый,  
город поднял нас на смех.  
Город тыкал пальцем в нас,  
он дурачился, кривлялся.  
Я, когда Христос смеялся,  
на Него не поднял глаз.  
Я Его не распинал.  
Но, подобно фарисею,  
благодарен быть не смею,  
что Его не продавал.  
Шел последний, чёрный снег,  
и равнял он всех со всеми.  
Писаны об этой теме  
томы всех библиотек.  
Только ветер, и ничто  
больше, был при интересе.  
Он кричал: «Христос воскрес!»  
и срывал с людей пальто.  
И широкая заря  
занялась на всю седмицу,  
и толпа во храм стремится,  
и воскресла вся Земля.  
И молился я со всеми,  
многогрешный и дурной,  
и Христос в высоком шлеме  
восставал передо мной.